

Вольфганг Бюшер
*Берлин —
Пешее путешествие Москва*



Paulsen

ПРОЩАНИЕ

Однажды ночью, когда лето было в самом разгаре, я закрыл за собой дверь и отправился в путь: прямо на восток, насколько это было возможно. Ранним утром Берлин был совершенно тих. Я слышал только стук своих подошв по полу, затем по гранитным плитам. Воздух был насыщен сладостью — цвели липы, а Берлин был исполнен бодрости, но меня не слышал. Как всегда он лежал без сна и как всегда пребывал в ожидании, предаваясь путанным исполинским грезам, полыхавшим зарницами поверх нагромождения зданий. Ночью лил дождь, и, когда мимо прошел автобус, его стоп-сигналы прочертили красные линии на мокром асфальте. Движение становилось все более интенсивным, в аллеях кричали птицы, город, поеживаясь спросонья, вскакивал на ноги, скоро служащие сплоченными колоннами устремятся в свои бюро. Ко всему этому я был уже не причастен.

Последние дни пронеслись стремительно, и вот это утро наступило. Перекинуть через плечо самое необходимое, остальное, весь этот успокоительный балласт, — прочь. Закрыть за собой дверь, наутро другую, потом еще одну и еще — и дальше, дальше. Через Одер, Вислу, Неман. Через Березину и Днепр. Идти до самой ночи. До самого утра. До тех пор, пока не дойдешь. Нечто вроде стыда охватило меня из-за грандиозности замысла: сегодня я иду на Москву. Я был рад безмолвию Берлина. Любопытные взгляды я не смог бы вынести.

Сбоку движется нечто. Витрина, в ней отражается человек. Он шагает по темному зеркалу в своих новеньких оливково-зеленых военных брюках, в оливково-зеленой рубашке и добротных сапогах. Все это ему подарено, его поступь подчеркнута бодром. Когда лето закончится, где я буду, зеркало? Витрина была из старого пузырчатого стекла, она задрожала, будто ветер пронесся над водной гладью, и отражение подернулось психоделической рябью. Отъехал трамвай, последний на долгое

время, я прислушался к тому, как он удаляется, к его грохоту и завываниям. Затем он затих и скрылся на западе. Напоследок стало не по себе: комок в горле, промедление перед янтарным светом на полу, мысль о тех, кто остается ...

Потом еще был супермаркет на восточной окраине города. Двое мужчин в шортах сидели на скамейке и ждали открытия магазина. Подошел третий. «Я усё пью! — кричал он. — Колу, пиво, шнапс — усё», и толкал перед собой тележку, как престарелая фрау Вайгель¹ на театральных подмостках города, который я теперь покидал. «Вали отсюда!» — завопила парочка на скамейке. Усёкавший парень свалил, затерявшись в наступающем дне, который имел цвет влажной извести и такой же запах. На самом деле последним впечатлением от Берлина стала дохлая мышь. Все ускользнули от ночной бойни, а она осталась лежать, и, хотя она была достаточно упитанная, ни одна кошка ее не съела. Мышь лежала, вытянув все свои четыре ножки, а неподалеку высилась безнадежная коробка детского сада, называвшегося «Сороконожка». И действительно, лихая сороконожка красовалась на его стене. Я прошел мимо издевки и мимо мыши, потуже затянул рюкзак, достиг спасительного последнего поворота — и был таков.

За первый день в дороге не произошло ничего особенного, за исключением того, что я шел и шел, и в первой встречной после Берлина деревенской лавке купил себе набор для шитья, который тут же выбросил. Оставил только ножницы: они были очень легкими, а это — самое главное. Ножницы оказались такими миниатюрными, что постоянно соскальзывали с кончиков пальцев, но благодаря некоторому упорству и тренировке мне удалось нарезать пластырь полосками, чтобы заклеить мозоли на правой ступне, пока не было пузырей. Всегда болела правая нога, и никогда — левая, так оставалось до самой Москвы.

День, начавшийся известковой бледностью, стал жарким и душным, я прошел уже деревушку Вердер. На восточном берегу Эльбы имена населенных пунктов, как койки пролетариев в Берлине двадцатых годов, заняты сразу двумя-тремя претендентами². Мальхов. Вустров. Глиннике. Вердер возник во время Тридцатилетней войны, но пока я через него шел, он притаился и делал вид, будто его здесь нет: дворы были заперты и спрятаны за желтыми кирпичными стенами высотой в человеческий рост, а каменная церковь укрылась под древними каштанами. Я посидел немного в их тени, и Вердер опять остался в одиночестве со своими коммунистическими улочками, названными в честь Карла Маркса и Эрнста Тельмана, со своими трогательными песчаными дорожками, со своей звенящей и жужжащей полуденной тишиной, в которой слышалось нечто гнетущее и демоническое.

Подъехал велосипедист и захотел поболтать. Его путь лежал до Мюнхеберга и обратно. Я пробормотал что-то по поводу более длинной прогулки и расстался с ним. Уже за несколько недель до начала путешествия у меня возникло сильнейшее нежелание подвергаться расспросам. Я хочу это сделать — какие могут быть объяснения? Я быстро шел через тихие деревеньки, по полевым тропам, сторняясь людей и их любопытных взглядов.

Прямой путь на восток теперь представлял собой лишенную тени песчаную дорогу через Красный Торфяник — лощину, кишашую тысячью микроскопических жизней и смертей. Здесь кипела непрерывная работа. В воздухе — вихрь крыльев, а внизу в траве трудилась целая армия миниатюрных тел: прожорливые насекомые в чешуйчатых панцирях, коричневых, черных, сине-зеленых с металлическим отливом. Лощина жужжала и стрекотала, я замер, чтобы не нарушать чистый полуденный шелест шумом своих шагов. Через некоторое время мой слух различил пульсацию, обладавшую ритмичной монотонностью современной танцевальной музыки. Нахлынуло, отхлынуло, взмыло высоко вверх. Торфяник бурлил и танцевал. Звуковые потоки захлестывали меня, волны лощинной музыки слышались отчетливее, я удивился, что никогда прежде не ощущал столь ясно звучание космоса, мне пришло в голову, что Красный Торфяник одновременно посылает сигналы и принимает их как огромная спутниковая антенна, настроенная на внеземные частоты. Мысль об этом не была сверхъестественной для выходца из Берлина. На единственном, возведенном из руин холме³ этого города до сих пор высились огромные купола установки, во времена холодной войны прослушивавшей Восток как прослушивают ребенка с больными легкими. И всегда в Берлине появлялись безумные пророки, возвещавшие о существовании тайного передатчика, нами управляющего и нас мучающего. Мне вспомнился человек-передатчик, много лет назад бегавший по городу с длинными колыхающимися антеннами на голове. Вот где он мог бы поймать волну — здесь, в Красном Торфянике, он бы исцелился. Я открыл глаза и увидел, как у моих ног маленькая армия больших красных муравьев растаскивает на части бабочку Павлиний глаз. Ее напудренные крылья дрожали, словно она собиралась улететь, но это было лишь следствием того ожесточения, с которым красные палачи рассекали тело, — бабочка была уже мертва.

Я вышел на старую Рейхсштрассе рядом с мотелем «У Ани», и мир снова выглядел привычно, как в телевизоре. Я заказал

себе бутерброд с овечьим сыром, много воды, и сбросил рюкзак на стул. Он стал для меня тяжелым, слишком тяжелым, мне необходимо было что-то сделать до перехода через Одер. Мне казалось, что я упаковал лишь самое важное, но теперь я понял, что должен обойтись гораздо меньшим.

Под вечер я добрался до места последнего большого сражения Второй мировой войны — Зееловских высот. За Мюнхехофом, как путевой указатель, лежал пергаментный пузырь высохшей на солнце мертвой лягушки, а перед Янсфельде — лисица с разбитой головой. От рапсовых полей на холмах под Дидерсдорфом несло облако пыльцы, окрасившей меня в желтый цвет, дивизия гигантских красных комбайнов медленно двигалась навстречу грозовому фронту, небо становилось все более черным. Я достиг Зеелова в тот момент, когда разразилась буря, по счастью одним из первых домов на этой стороне города оказалась гостиница.

Пока бушевала гроза, за тремя столиками в ресторане гостиницы трое мужчин коротали три одиноких вечера. Один из них был одет в вельветовую куртку и имел вид английского режиссера, снимающего фильм о жизни животных, он заказывал один чайник чая за другим и сосредоточенно вносил поправки в сценарий, как будто проводил вечер в уединении режиссерской палатки под проливным тропическим дождем. Он был как стоик в южной колонии. Тот, кто выживает. Другой был мужчина со взглядом Лу Рида⁴, занесенного сюда по воле случая. Тишина палатки английского режиссера казалась ему невыносимой. Таких людей тропики укрощают, вводят в искушение и в конце концов проглатывают. Сверкающие безумием глаза, скрытые красным стеклами очков, искали товарища по несчастью, чтобы вместе противостоять меланхолии муссона, и стоило зазеваться хотя бы на секунду, как он тут же наладил бы понтонное сообщение между столиками.

Я не стал этого дожидаться. Я взял карманный фонарик и пошел к солдатскому кладбищу. Фонарик мне не понадобился: при полной луне надписи на зееловских камнях были хо-

рошо различимы, они читались как истрепанные карточки из длинного библиотечного ящика какого-нибудь гуманитарного факультета, скажем, в Марбурге. Майер. Конрад. Валентин. Шиллер. Дойч. Зюс. Юнг. Все они были мертвы. Я попытался себе представить, какой могла бы стать эта страна, если бы они все были живыми людьми, а не надписями на камне. Незавершенный труд, несовершенная революция. Немецкий Поуп тоже был здесь, старый, сломанный. Шмелинг. Альберс. Одного звали Гутекунст. Типичное изобретение Мартина Вальзера⁵, Леберехт Гутекунст или что-нибудь в этом роде, но размышлять о Германии было не время. Камни уже гудели в унисон и раскачивались, все кладбище насвистывало теперь знакомую мелодию: *Where have all the Mayers gone?* Где все Майеры теперь, где они остались?⁶ Все Дойчи. Все Зюсы. Все Юнги. Этим Юнгам, мальчишкам, в 1945-м не исполнилось даже двадцать, это была бойня восемнадцатилетних, только что со школьной скамьи. Большинство из них было зарыто в неглубоких воронках от разрывов мин, произошло так не из-за нацистской озлобленности или пацифистского ужаса, но потому что бойня была беспорядочной, быстрой, жестокой и ничего другого не оставалось. Чаще всего на камнях в Зеелове встречалось имя «Неизвестный».

Я устал, настроение было ужасным. Я все шел и шел, бесконечно перебирая эти имена и эти истории, двигаясь кругами по густо усеянной надписями земле. Я думал о стране, в которой на протяжении нескольких дней или даже недель можно не встретить ни единого человека. Я достал пиво и присел на могилу, на ней значилось «Неизвестный». Какая насмешка. Неизвестного здесь не было ничего. Все было известно, я всегда точно знал, где я шел и где останавливался, а случилось мне чего-либо не знать, как поблизости непременно отыскивался кто-нибудь и все мне растолковывал.

До этого в военном музее Зеелова мне объяснили, что я полдня ходил по Аллее Повешенных и завтра пойду по ней дальше. Весной сорок пятого так называлось все длинное шос-

се от Мюнхеберга до Кюстрина на Одере — между нами, вы же понимаете, СС. Да, я, конечно, знал. Необычные плоды висели тогда на деревьях, тень которых меня привлекла. Эсесовцы совершенно обезумели в поисках деликатесов. В то время как справа и слева от военной дороги люди гибли как мухи, и дикий, не вполне обосновательный страх перед русскими принуждал их к самым отчаянным поступкам, эсесовцы, украшавшие таким образом деревья между Одером и Мюнхебергом, похоже, испытывали не столько желание отправиться на фронт, сколько смертельную ярость по отношению к собственному народу. Дезертиров отыскивали быстро и долго с ними не церемонились. Пошел, вверх на грузовик, стой там, под липой, да, вот под этой, эта годится, петля на шею и жми на газ. Следующий. Эсесовцы давали волю той же оскорбленной мстительности, что и помешанный жених из Берлина⁷. Когда все уже проиграно, мы хотим еще раз показать невесте, кого она не заслуживает. Кого немецкий народ оказался недостойн. Что мы, извлекшие его из болота германской посредственности, думаем о его предательстве по отношению к фюреру.

Я почувствовал, что кто-то сидит рядом со мной, я не смотрел туда, я и так знал — кто. Как быстро нагнал он меня, уже в первый вечер, и теперь будет сопровождать всегда: его путь стал моим, мой же путь был дорогой Наполеона и группы армий «Центр», которая была и его дорогой. Я шел на Москву, и ко мне привязался земляк-однополчанин, чтобы слегка действовать мне на нервы своими нашептываниями про воронки и про повешенных. Мне оставалось только спросить его имя и выслушать его рассказы, этого требовала историческая вежливость. Я знаю тебя, бормотал я, ты — гимназист из Мюнхена с «Фаустом» в кармане униформы. Я знаю тебя по зееловскому музею, они собирают там подобные случаи в сером покореженном шкафу для документов; после ограбления его стальные дверки скрипят, да-да, здесь имело место настоящее ограбление, — так далеко заходит любовь к немецкой истории. Я знаю о тебе все. Оторванный от Гете и брошенный в

апрельскую тряси́ну проваливающегося Восточного фронта, ты должен был удерживать Зееловские высоты, последнюю линию обороны перед Берлином, и вот три часа утра, и девять тысяч русских орудий и минометов начинают грохотать, вырывая тебя из тяжелого сна и вдавливая обратно в твою земляную нору, и сто сорок три русских зенитных прожектора одновременно вспыхивают и ослепляют тебя, и все это происходит 16-го апреля 1945 года. Это будет теплый солнечный весенний день. Иван перепахивает Одербрух⁸, Фриц стреляет с высот по наступающим, к вечеру многие русские мертвы, а, возможно, и ты, гимназист, ты, ищущий спасения в «Фаусте» часть первая и вторая, пытающийся все это вынести, ты цепляешься за то, что ты, собственно, есть и чем остаешься, а это — школьный Гете, и ты повторяешь по памяти с трясущейся челюстью «Пасхальную прогулку» здесь, в кровавой тряси́не, а вокруг тебя трещат автоматные очереди, взрываются мины и так далее — я оглянулся, но рядом никого не было. Но я знал, кто это был. Не тот, о ком поведали камни и музей. Некто, совершенно потерянный среди далей, самый потерянный из всех. Ни камня, ни места, ни имени — ничего. Мы не знаем друг друга, он — мой дед. Он не знает, что я существую, я не знаю, как он умер и где лежит, никто этого не знает. Будь спокоен, шептал я, я пройду по тебе так, что ты этого не заметишь. Будь совершенно спокоен, я пройду сквозь тебя, как ветер.